

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT NEW YORK, N. Y.

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO 243 West 56th St., New York 10019 Tel. 265 - 5500

VOL. LVIII. № 20.308. SUNDAY, JULY 7, 1968

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ИЮЛЯ 1968 ГОДА

ЦЕНА 15 СЕНТОВ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Мои встречи с писателями

(ГЛАВА ИЗ ВОСПОМИНИЙ)

В доме моей матери, Ариадны Владимировны Тирковой-Вильямс в Петербурге я встречал многих петербургских писателей. В молодости я не вел с ними литературных разговоров, но я слушал и наблюдал их.

Одним из первых писателей, которых я увидел, был А. И. Куприн, первым браком женатый на Мусе, сестре школьной подруги моей матери, Лидии Карловны Давыдовой — Туган — Барановской. Муса была только «юридическая» сестра Лидии Карловны, т. е. приемная дочь ее матери, издательницы журнала «Мир Божий» Александры Аркадьевны Давыдовой. Позже она разошлась с Куприным и вышла замуж за журналиста Иорданского.

Я помню Куприна еще молодым. Он всегда бывал очень живым, любил остроту и шутку с окружающими. Как-то, когда я был еще учеником старших классов среднего учебного заведения, он приезжал весной в разлив Волкова в имение моего дяди «Вертежа». Я видел его показывать с нашего холма водные дали и он вдыхал всю грудью прекрасный весенний воздух, все время повторяя: «Благоухает то такая, благодать то такая!» «А нельзя ли у вас постелить зайчишек или какую-нибудь другую дичину?» — спросил Куприн.

Мы доставили ему двустолку, кто то дал высокие сапоги, и он пошел бродить по полям. Председатель местного охотничьего общества, муж моей тети, был недоволен тем, что Куприн ходит по местам, арендованным этим обществом. Не смотря на то, что Куприн возвратился с пустыми руками, дядя Женя не мог скрыть своего возмущения, демонстративно отвернувшись от него за столом и скоро ушел из столовой.

Мне кажется, что это была моя последняя встреча с Куприным в России.

Следующий раз я его встретил уже в Париже лет через пятнадцать. Пришел я к нему по поручению П. Б. Струве, вскоре после того, как

начала выходить газета «Возрождение». Куприн дал согласие участвовать в новой газете, но ничего не писал. Струве просил меня узнать, что бы он хотел делать в газете.

Куприн посмотрел на меня. В глазах его вдруг забегали ве селы искорки.

— Передайте Петру Бернгардовичу, — сказал он, — что я согласен составлять хотя бы хроникерские заметки.

Но зная чудачества Струве, он на него не обиделся, а стал давать в газету короткие кие рассказы, некоторые из которых были настоящими шедеврами.

Помню его небольшой очерк, занимавший только один подвал, в котором он передавал свое восприятие ночи в лесу. Это было сделано очень просто и вместе с тем с большим мастерством. Очень боюсь, что газетная бумага искрошилась и что этот замечательный очерк исчез навсегда.

В последний раз я заходил к Куприну в его квартиру в 15-м аррондисмане Парижа, уже зная, что он уезжает в СССР, или, что его увозят туда домочадцы.

Презнний Куприн совершенно исчез. Остался только расклевчатый облик Александра Ивановича. Он был весь пропитан красным вином — ординером. Недопитая бутылка стояла около его кровати, на которой он сидел.

Я большой поклонник Куприна и считал его большим мастером. В его рассказах жизнь течет просто и вольно, сама собой. В них гораздо больше толстовского, чем может быть, в отделанных, но холодно высокомерных произведениях Бунина, совершенно мне не чуждых.

Ремизовы, муж и жена постоянно бывали у нас в Петербурге и ездили несколько раз на Вертежу. Он впервые читал свое «Бесовское Действие» у нас в столовой.

Слушали его человек десять писателей и поэтов. Когда он кончил, то я (гимназист старших классов) почувствовал, что сбавившиеся не знают, что сказать. Наступило некое молчание и, наконец,

Иван Васильевич Жильямс (лидер трудящихся в Первой Думе, потом совершенно отошедший от политики, занимавшийся журналистикой и писанием коротких рассказов) сказал, что новое произведение Ремизова напоминает ему средневековые драмы с дьяволом. Жильямс бросил тему, заговорили и другие, но у меня тогда создалось впечатление, что Ремизов ожидал других откликов.

Относился у нас к со- прутам Ремизовым, как к суровейшим чудачкам, ожидавшим от них каких-то неожиданных вещей. Мой отчим, англичанин Герольд Васильевич Вильямс (полный противоположность Ремизову) очень любил его. Ремизовы тоже ценили дружбу моей матери и отчимы и всегда советовались с ними по всем житейским затруднениям, которые в большинстве случаев были выдуманными.

Позже, уже в эмиграции, я с женой бывал у Ремизовых в Берлине. Мы помогали им в разных житейских делах. Моя жена сопровождала его в полицейское управление по паспортным делам. Зрелище супругов Ремизовых на улице почти всегда привлекало внимание прохожих. Маленький, сгорбленный господин, у которого голова уходила как то в плечи и в лице были, как казалось, азиатские черты (хотя он был коренным москвичом) и при нем огромная (во все стороны) дама с широким открытым лицом. Они нам жаловались, что однажды, где то на юге Германии их приняли за японца и американку. Было это очень невыгодно, потому что отельщики подавали им раздутые счета, а денег у них, как всегда, было очень мало.

Когда многие русские бежали из Германии после стабилизации марки, решили и Ремизовы переехать в Париж. Друзья пришли помогать укладываться. Когда я вошел уже в разгромленную столовую (как всегда у всех перед отъездом), то прежде всего увидел монументальную Серафиму Павловну Ремизову совсем притеснившую в угол их приятеля — художника (кажется, его фамилия была Залевский, но я не совсем уверен) и поносившую его самыми отборными словами, вроде мерзавец. Художник был совершенно растерян, и я подумал, что она сошла с ума. Оказалось, что художник в добросовестном порыве укладил выброшенную робку с еродной землей, которую Серафима Павловна всегда возила с собой. Подавленный и совершенно сконфуженный художник, стал пробираться в переднюю, чтобы поскорее исчезнуть. Но его перехватил Ремизов (я стоял тут же). «Не расстраивайтесь и не огорчайтесь. Я уже много раз менял эту землю. В том, что вы выбросили не осталось ни горсти еродной земли, только ни слова ей», — погрозил он пальцем, лукаво улыбаясь.

В Париже я мало видел Ремизовых, они вращались в совершенно чуждых для меня кругах, но всегда ходил на его мастерские чтения — особенно Гоголя.

После войны, когда Серафима Павловна была уже на том свете, я заходил к нему. Это был маленький старичок, похожий на грибок, все тело в похем слепой, но все также сидевший за своим письменным столом и что то мастеривший при помощи ножниц и разновидных бумажек. Вид у него бывал очень несчастный.

Он взял советский паспорт, по полному своему неразумению. Мне это было очень неприятно, но все же мы дружились беседовали.

Моя мать была болыну другом Ремизова и очень высоко ценила его талант. У меня всегда бывали споры с ней о нем. Я считал все его чудачества деланными. Она же находила, что такого его природа и что иначе он не может себя вести. Это чувство деланного чудачества я перенес и на произведения

Ремизова и потому никогда их по настоящему не мог оценить, да еще сердился на его нравоучительность некоторых его писаний.

Александр Блок появился в квартире моей матери и отчимы значительно позже, когда я уже был студентом. Но первая моя встреча с ним на Семеновской улице около Литейного мне хорошо запомнилась. Вероятно, я тогда был учеником 5-го или 6-го класса. Мне сразу бросились в глаза красивое лицо шегольского студента. Был он в форме университета, в фатовской фуражке с широкой тульей. Кто то из моих товарищей, шедших со мной сказал, что это поэт Блок.

Стихи его мы уже читали и запомнили наизусть. Александр Блок обычно приходил к нам один, во всяком случае, не когда собирались писатели. Говорил он медленно и рассчитывал свои движения. Декламировать, повидимому, не очень любил, но делал это, когда его просили. В таких случаях он всегда вставал и отходил в сторону, обычно в угол. Читал он свои стихи безо всяких жестов, какою-то особенным тоном. Выходило очень хорошо.

Помню обед у нас, Блок и супруги Ремизовы (уже не Блока я никогда не видел). Алексей Михайлович был срезан (совсем не чудил). Говорил о литературе и о политике, но совершенно не говорил о войне, точно ее и не было (было это в 1916 году). Блок был оживлен, виднелось, что он доволен общением с присутствующими.

Последний раз, когда я видел Блока мы провели с ним вместе часов семь, сидя друг против друга в поезде из Петрограда в Москву. Мы оказались вместе в поезде совершенно случайно. Иногда разговаривали, иногда дремали. Мне были известны дефетистские настроения Блока и его странные политические убеждения. В период Временного правительства он сочувствовал левым эс-эрам. В глубине же своей души он, повидимому, был консерватором и русским папифистом, что иногда и обнаруживал в своих писаниях и в своей первой статье в газете.

Во время этой ночной поездки Блок несколько раз пробовал убедить меня в беспечности войны и в том, что ее не обязательно как можно скорее прекратить. Я возражал, указывая, что логическое развитие его мысли приведет к необходимости сдать немцам.

Блок сдержанно сердился и старался меня уверить, что я все упрощаю.

Это было летом 1916 года. Больше я Блока не встречал. Максимилиана Волошина, или среди знакомых, Макса Волошина, я помню еще по Парижу в 1905 году, когда мне не было еще четырнадцати лет. Своей прической он был похож на молодого барского кучера — шевелюра почти с дыконовскими волосами и красивая холерная русая борода, всегда смеющийся рот с прекрасными зубами.

Моя мать, смеясь, часто рассказывала о разных забавных случаях во время их поездок на велосипеде по Парижу и его окрестностям.

Как то на улочной ярмарке, Волошину так понравилась удительная речь продавца убойной пасты, что он вскопил на подмостки и предложил крапорочному продавцу немедленно починить ему, Волошину, зубы.

Но фурур тогда производил не Макс, а его строгая на вид мать, ходившая в брочках.

Появление сына и матери Волошиных в доме Александры Васильевны Гольштейн среди французских литераторов и их жен, совершенно ошеломило собравшихся. Это чувство особенно усилилось, когда Макс начал представлять французским своим мать как «мой мэр».

Несмотря, однако, на все анекдотические рассказы о молодом Максе Волошине, я уже твердо знал, что он прежде все

го — поэт. Фраза из его стихотворения часто повторялась у нас в доме:

В дождь Париж расцветает
Словно серая роза...

Она уже тогда звучала в моих ушах.

В России я не часто видел Волошину. Он жил в Москве, женившись на Собашниковой. Но все же, он иногда появлялся у нас. Разговор его всегда был эмоциональным, напористым и убедительным, особенно, когда он блистал своими зубами.

В последний раз я видел его в нашем доме на костюмированном вечере, устроенном по случаю окончания мной среднего учебного заведения. Он был в прекрасном боярском костюме, а его жена была одета боярыней. Это было в 1910 году. Оба они были оживлены и казались такими молодыми цветущими, много танцевали друг с другом. Мне тогда казалось, что совсем не переменился по сравнению с 1905 годом.

Александра Васильевна Гольштейн, о которой я только что упомянул, была явлением совершенно особым в русской жизни.

Родилась она, вероятно, в конце сороковых годов прошлого столетия в помещицкой семье, но выехала из России совсем молодой, следуя за своим первым мужем, у которого были какие то политические осложнения с правительством. Поселились они в Париже. Когда первый муж умер, она вышла замуж за ученого русского доктора В. А. Гольштейна.

Александра Васильевна быстро впитала в себя французскую культуру, оставаясь при этом совсем русской. В начале своей жизни в Париже она была связана с анархистами, хорошо знала Бакунина.

Благодаря своим литературным интересам и большому художественному вкусу, она еще в прошлом веке вошла в свое время нечто вроде литературного салона. С годами анархизм выветрился в ней. Она постоянно общалась с русскими и особенно левыми эмигрантами или приезжавшими из России умеренными либералами. Народник Лавров был влюблен в нее. Целая папка его писем к ней находится в одной из американских библиотек. В молодости, будущий секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург, академик В. И. Вернадский, историк А. А. Корнилов, общественный деятель кн. Д. И. Шаховской постоянно бывали у нее на квартире, когда приезжали в Париж. Позже там же бывал П. Б. Струве. Она жила много десятилетий все на той же квартире 75 rue de la Tour, в Пасси.

Поскольку я знаю, никогда она не писала художественных произведений, думаю, потому, что ее ум был слишком критическим. Возможно, что она во французских или русских изданиях помещала критические статьи. Была она переводчицей. До глубокой старости переводила на французский язык медицинские статьи с английского и русского. Переводила также романы. Я помню мальчиком в 1904 году, как в своей парижской квартире она прочла нам перевод одного из романов Джека Лондона.

Создалась традиция, что русские писатели, приезжавшие в Париж, обязательно посещали ее дом. Когда нагрянула в Париж белая эмиграция, нагрянули к ней и писатели. Когда я только у нее не встречал.

Первая война сделала А. В. Гольштейн большой поклонницей французской армии и это ее преклонение перед французской армией перенеслось на русских военных. На той же квартире, на rue de la Tour, которую когда то посещали анархисты, стали появляться русские белые генералы.

Была она женщина властная, решительная, пристрастная к людям, не терпевшая возражений, но с суждениями всегда не банальными и интересными. Одних она любила, других

не признавала. Такой ее любилцей с первого визита к ней в 1904 году стала моя мать.

В своих оценках людей она часто бывала несправедлива, но когда ошибалась, то познание мужественно признавала свои ошибки. Может быть, интеллектуальная независимость была одной из главных черт ее характера. Многие она сердилась своими решительными суждениями о людях. Но я никогда не слышал, чтобы ее суждения о литературе и искусстве считали скучными.

Живость ума она сохранила до глубокой старости.

Ее младшая дочь вышла замуж за будущего редактора «Возрождения» Ю. Ф. Семенову. Но, когда они разошлись, то зять остался жить в доме тещи и относился к ней как к своей родной матери, а ее родная дочь покинула ее дом.

Мандельштам был вместе со мной в Тенишевском Училище. Его младший брат был в одном классе со мной, а поэт был двумя классами старше. Но помню я его с самых младших классов. Мой одноклассник был подтянутый мальчик и ничего в нем не бросалось в глаза. А у старшего брата всегда был какой то нелепый вид, и он был предметом постоянных шуток старших и младших мальчиков. Своей походкой и расстановкой ног он напоминал Чарли Чаплина, что всегда вызывало смех учеников, как и его штаны «гармошкой».

Я смутно вспоминаю Мандельштама в университетском коридоре. У него был все такой же нелепый вид.

Последняя моя встреча с Мандельштамом произошла около памятника Петра Великого на Исакиевской площади на следующий день после принесения приговора Киевским Судом по делу Бейлиса. Было это, кажется, в 1912 году. Бейлис обвинялся в ритуальном убийстве и был признан присяжными невинным.

Я не знаю, когда Мандельштам начал печататься, или вернее, когда на его поэзию было обращено внимание. Но я совершенно отчетливо помню, что встречался лично у памятника Петра Великого Мандельштам для меня не был тогда поэтом, а просто гимназическим товарищем.

Вячеслав Иванов бывал в доме матери всегда со своей женой Зиновьевой — Ганнибал. Когда же Вячеслав Иванов переменил жен и отверг мать ради дочери Веры, то моя мать и отчим больше не пожелали принимать его у себя.

Приходили супруги Ивановы всегда одни. Для меня было что то неприятное в его физическом облике. Почему то создавалось впечатление, что его лицо всегда было покрыто по том, а с шевелюры сыпалась перхоть. Он бывал заискивающе любезен с матерью и особенно с моим отчимом Вильямсом. Но я хорошо знал, что он строгий mentor молодых поэтов. При Зиновьевой моя мать и отчим, постоянно бывавшие на собраниях в их доме (в «Башне»), потом рассказывали как Вячеслав Иванов решительно обращался с литературной молодежью. Его боялись, с ним считались, перед ним заискивали. Только один Блок, не часто появившийся в Башне, держал там себя очень независимо, чтобы не сказать недоступно и замкнуто.

Из поэтов, бывавших в доме моей матери я хорошо помню Сергея Городецкого и Садонского.

Городецкий всегда шумно смеялся. Его литературные высказывания были обычно мало интересны. Но отдельные фразы из его стихов звучали и запоминались.

Борис Садонский предпочитал приходить один, сидел тихо, мало говорил, но умно и интересно. Садонский много думал о старом, о 18 веке, и нередко писал стихи на старинные темы. У него была нелепая внешность — почти совсем лысая большая голова. В начале это отталкивало, но когда к нему привыкали, то

было приятно вести с ним неторопливый разговор. Он охотно читал свои стихи, но когда было немного народу, и один и когда бывали гости.

Федор Кузьмич мог быть разговорчивым и живым собеседником, но мог неожиданно замкнуться, замолкнуть, уходить в угол и тогда уже с ним ничего нельзя было сделать, даже несмотря на все старания его жены Анастасии Николаевны, светский авторитет которой он признавал.

Василий Васильевич Розанов любил бывать у матери и его ценили мать и отчим. Был он тихий, спокойный, редко возвышавший голос во время споров, что не мешало ему пускать ехидные шипы особенно в сторону либералов. Однако, эти шутки и остроты делались в довольно мягкой форме. В разговорах за столом русские либералы были для него козлами отпущения. Он особенно любил заденать Родичева, который все его шутки принимал за чистую монету.

Когда в квартире матери появился длинноногий и тогда еще молодой К. Чуковский, сразу стало шумно. Он громко смеялся и шумно рассказывал разные забавные случаи из своей жизни. До посещения нашего дома он жил несолько месяцев, а может быть, и год — в Лондоне и полюбил Англию. Он забавно рассказывал, как после Заутрени в Лондоне он шагнул по бесконечно длинным улицам столицы Великобритании с освященной лаской и куличом, завернутыми в салфетку, и как содержание этого освященного пакстика выпало на мостовую.

Я не помню, бывал ли Алексей Толстой у нас в Петрограде. Может быть, и бывал. Но во всяком случае редко, так как жил он с тогдашней своей женой Крайневской в Москве. Я думаю, моя мать и познаниялась с ним через семью Крайневских, которую давно знала.

С Алексеем Толстым я часто встречался уже в эмиграции, в Париже. Звали его все кругом Алексея Толстого. Был он настроен очень антисоветски и проклинал большевиков.

— Пожевал бы их на рту, да и выплюнул, — говаривал он с презрением.

Его отъезд в Советскую Россию для всех нас был совершенно неожиданным.

Особенно горьчилась Александра Васильевна Гольштейн, у которой он постоянно бывал.

Аркадий Борман